

Светлана Маслинская

Бить или молчать?

(ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ
В СОВЕТСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ)

Svetlana Maslinskaya

Beat or Keep Quiet?: On the Image of Corporal Punishment in Soviet Children's Literature

Светлана Маслинская (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, старший научный сотрудник Центра исследований детской литературы; кандидат филологических наук) braunknopf@gmail.com.

Svetlana Maslinskaya (PhD; Senior Researcher, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences) braunknopf@gmail.com.

Ключевые слова: советская детская литература, домашнее насилие, телесное наказание, литературная репрезентация, Владислав Крапивин

Keywords: Soviet children's literature, domestic violence, corporal punishment, literary representation, Vladislav Krapivin

УДК 821.161.1

UDK 821.161.1

Русская детская литература 1940—1980-х годов представляет собой любопытный пример коллекционирования форм и ситуаций домашнего телесного насилия взрослого по отношению к ребенку и позволяет не только составить протокол репрезентаций насильственных действий над детским телом в изучаемый период (от детализированных натуралистических форм публичного наказания в присутствии очевидцев (порка, побои и пр.) в начале изучаемого периода к косвенным упоминаниям актов насилия в 1960—1970-е годы), но и уточнить дискурсивные механизмы письма о насилии над детьми. Официальный запрет на применение насильственных действий родителей по отношению к детям совпал как с резким снижением количества изображенных случаев домашнего насилия в детской литературе, так и со сменой взрослой оценки допустимости телесных наказаний детей.

Russian children's literature of the 1940s and 1950s is a curious example of a collection of forms and situations of physical domestic violence on the part of adults toward children and allow not only for the compilation of a protocol of representations of violence against children's bodies in the studied period (from the detailed naturalistic forms of public punishment in the presence of witnesses (whipping, beatings, etc.) at the beginning of the period studied to the more indirect mentions of acts of violence in the 1960s and 1970s), but also clarify the discursive mechanisms of violence against children. The official ban on the use of violence against children coincided both with the sharp drop in the number of depictions of domestic violence in children's literature and the change in adults' assessment of the permissibility of the corporal punishment of children.

Литературу для детей пишут взрослые. Детские писатели, как и те, кто пишет для взрослой аудитории, ориентируются на свои представления о читателе. В случае с детской литературой эти представления — часть взрослых представлений о ребенке: границах его рецептивных навыков, тематических, жанровых и стилевых предпочтениях и ограничениях. Одновременно писатели связаны гласными и негласными запретами на изображение тех или иных явлений действительности в детской литературе. Табуированные зоны меняются со временем. В значительной степени это определено тем, какие идеи о границах допустимого в детскую литературу доминируют в обществе в тот или иной момент. Установившиеся презскрипции должны бы отражаться в литературе, но

этого может и не происходить. Это касается, например, изображения разного рода семейного насилия над ребенком¹. Представления о нормах обращения с телом ребенка менялись во времени, менялось ли вслед за изменением общественных норм изображение насилия в литературе, адресованной детям? На первый взгляд, нет. В отечественной детской литературе фиксировались и сейчас фиксируются насильственные практики, принятые в семье в отношении детей. Родители бьют детей, шлепают их, дают ребенку подзатыльник или пощечину...

Автобиографические произведения, в которых родители бьют ребенка, появились в детском чтении в XIX веке, а уже во второй половине XX века семейное насилие широко представлено в собственно детской литературе. В повести В. Киселева «Девочка и птицелет» (1966) отчим бьет падчерицу: «И тут он меня ударил. По щеке. Ладонью. Очень больно». У А. Лиханова в «Чистых камушках» (1967) мать бьет сына «наотмашь по щеке», а в повести В. Железникова «Чучело» дедушка «отвесил пощечину» своей внучке Лене. Все эти пощечины — физическое насилие (physical abuse) в отношении детей со стороны взрослых, но, с точки зрения антропологов, не телесные наказания (corporal punishment). В западной антропологии принято разделять эти практики (см.: [Donnelly, Straus 2005: 3–5]), однако четкую грань между ними не возьмется провести никто, культурные нормы претерпевают изменения и одновременно воспроизводятся и консервируются в национальных и религиозных культурах в течение длительного времени по-разному [Donnelly 2005: 51]. Телесное наказание, по Доннели, — это применение физической силы по отношению к ребенку с целью коррекции или контроля его поведения, с намерением вызвать у ребенка переживания и боль, не причиняя серьезного увечья [Donnelly, Straus 2005: 3]. Например, применительно к русской культуре «порция подзатыльников» (Ю. Томин) и «обычная порка» (Е. Дубровин) мало чем отличаются по ритуальному характеру процедуры. Детская литература отражает повседневный семейный опыт применения насилия практически во всем его разнообразии.

Социологические, психологические, исторические и антропологические исследования домашнего физического насилия и телесных наказаний выявили ряд проблем эпистемологического характера: социальная варьированность нормы обращения с ребенком (в том числе в исторической перспективе), психологические режимы освоения насилия с обеих сторон (взрослый — ребенок), устойчивость/изменчивость публичного дискурса о насилии под влиянием развития педагогических идей и «вопиющих случаев», попавших в зону общественного внимания, и др. Публичное обсуждение недопустимости домашнего насилия началось в России во второй половине XIX века, оно шло в одном русле с критикой насилия в образовательных учреждениях (см. обзор в: [Кон 2012: 179–225]). Но если недопустимость телесных наказаний в школе в первое десятилетие XX века была признана широкой общественностью, а в 1918 году телесные наказания были запрещены в «Положении об единой трудовой школе

1 В западных обзорах отчетливо дискутируется изображение насилия по отношению к детям на войне, но не обсуждается домашнее насилие [Nimon 1993]. В отечественной критике детской литературы телесное насилие как объект для изображения вообще не обсуждается.

РСФСР» [Положение 1918], то в отношении семейного насилия четкой официальной позиции выработано не было.

Историки, изучавшие внутрисемейные отношения в России XIX—XX веков, отмечали высокий уровень жестокости в обращении с детьми [Миронов 2000: 258—262]. Но при этом, как пишет И.С. Кон, «реальные дисциплинарные практики варьировали в зависимости как от сословной принадлежности семьи, так и от индивидуальных особенностей родителей» [Кон 2012: 226]. Очевидно и другое: гуманизация внутрисемейных отношений во всех сословиях на рубеже XIX—XX века шла очень медленно. Педагоги выступали за отказ от телесных наказаний, публиковали популярные брошюры для родителей², однако серьезного влияния эти увещания по понятной причине не оказали: до тех, кому бы они были прежде всего нужны, — родителей из крестьянских, мещанских, рабочих семей — они не доходили. Впрочем, педагогическая пропаганда и впоследствии, в течение XX века, не пользовалась успехом у родителей самого разного социального положения. Детей били и в семьях советской партийной номенклатуры, и в семьях городских служащих, и в семьях заводских рабочих, и в семьях священников, и в семьях крестьян. В 1920-е годы педагоги пытались объяснить семейное насилие плохими условиями жизни и раздражительностью родителей [Бунцельман 1926], однако впоследствии, несмотря на активные просветительские кампании против насилия в семье на рубеже 1920—1930-х годов, с улучшением условий жизни ситуация никак не менялась [Тихомирова 2004: 65—66]. Инерция патриархально-авторитарных отношений в семье сохранялась, невзирая ни на призывы авторитетных педагогов, вроде А. Макаренко, который осудил телесные наказания в своей «Книге для родителей» (1937), ни на вмешательство школьных учителей, пытавшихся остановить родительский произвол.

Понятие «жестокое обращение с детьми» как юридическое впервые появилось в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1969 году, хотя что в него вкладывалось, в законе не разъяснялось (оно упоминается в параграфе о лишении родительских прав). У советских педагогов не было единой точки зрения на допустимость или недопустимость наказаний в семье: на рубеже 1960—1970-х годов в журнале «Советская педагогика» состоялась дискуссия, этому посвященная (см. об этом: [Там же: 71—74]). Но на деле школьные учителя провоцировали родителей применять телесные наказания. Так или иначе, в устных и письменных автобиографических свидетельствах XX века постоянно описывается домашнее насилие над детьми и телесные наказания (обширное количество примеров приводит И.С. Кон, у него же есть ссылки на другие публикации свидетельств (см.: [Кон 2012: 269—289])).

Я бы хотела обратиться к изучению литературных репрезентаций телесных наказаний в произведениях, адресованных детям. Учитывая, что автором детской литературы является взрослый, можно было бы ожидать, что телесные наказания (corporal punishment), показанные из взрослой перспективы, будут

2 Б.Н. Миронов указывает на книгу В.Н. Жук «Мать и дитя», выдержавшую 10 переизданий с 1880 по 1914 год, книги Е.И. Конради и П.Ф. Каптерева (см.: [Миронов 2000: 262]). Е.Л. Тихомирова упоминает и другие издания (Заметки о воспитании в раннем детстве: Посвящается матерям и воспитательницам. А. Ш. М., 1868; Домашнее воспитание: Руководство для родителей и воспитателей к воспитанию и обучению детей / Сост. по соч. К.Д. Ушинского, В.И. Водовозова и др. СПб., 1883), призванные просветить родителей (см.: [Тихомирова 2004]).

отражать общественный (взрослый) консенсус в отношении допустимых форм насилия или его отсутствие. Так ли это? Какие советские писатели обращались к этой теме, в какие годы и в каком объеме изображались телесные наказания, как в эпизодах порки представлены взрослые и детские точки зрения на происходящее и, наконец, прослеживается ли в детской литературе моральная оценка семейного насилия и телесных наказаний?

Детская литература как документирование насильственных практик

Обратившись к корпусу отечественной литературы для детей («ДетКорпус», detcorpus.ru), я ограничила свои поиски реалистической прозой, изданной в период с 1946 по 1991 год. Выбор периода обусловлен несколькими причинами, но в первую очередь он связан с желанием изучить тему насилия на большом корпусе реалистических текстов³. Я хотела избежать волюнтаристского отбора произведений, которые «у всех на слуху», и собрать материал путем корпусного чтения: создав несколько запросов «мать|отец|бить|лупить|ремень» и т.п., я получила конкордансы небольших текстовых фрагментов, включавших эпизоды насилия и телесных наказаний.

Из 591 реалистических произведения в 46 единожды или более изображается сцена телесного наказания взрослым (отцом или матерью) ребенка (сына или дочери). Сорок шесть произведений (8 % от всего числа включенных в корпус) распределены по десятилетиям неравномерно.

Период, годы	Общее количество текстов	Количество произведений с эпизодами насилия	Процент от общего количества произведений периода
1940-е	99	3	3
1950-е	143	10	7
1960-е	156	16	10
1970-е	121	7	6
1980-е	72	6	8

Из приведенных данных следует, что в 1950-е годы количество произведений с эпизодами семейного насилия выросло, а концу 1960-х годов по отношению к предыдущему двадцатилетию их число удвоилось. Среди произведений, вышедших в 1950-е, — «Ребята с голубиной пади» (1953) Сергея Жемайтиса, «Сирота» (1955) Николая Дубова, «Егоркин разъезд» (1959) Ивана Супруна. Пик писательской лояльности к изображению телесных наказаний пришелся на 1960-е — «Форпост “Зоркий?”» (1962) Эмиля Офина, «Ожидание» (1963) Радия Погодина, «Ветер рвет паутину» (1963) Михаила Герчика, «В ожидании козы» (1968) Евгения Дубровина и др. Затем число произведений начинает сокращаться. Причем важно учитывать и то обстоятельство, что в 1970—1980-х годах

3 На настоящий момент (данные на 30.06.2020) этот период хорошо представлен полнотекстовыми версиями книжных изданий детской литературы, чего нельзя сказать о довоенном и дореволюционном периодах.

половину из всех произведений с эпизодами семейного насилия составляют повести Владислава Крапивина, а значит, общее количество резко уменьшилось. Доля детских писателей, обратившихся к изображению насилия, от общего количества авторов по десятилетиям тоже показательна. Если в 1950-е из 118 авторов 10 обратились к изображению физических наказаний (8,5%), то в 1960-е из 117 писателей — 15 (12,8%), а к 1980-м годам их число снизилось до двух — Владислав Крапивин и Вильям Козлов (из 60 авторов, что равно 3 % и ниже, чем в 1940-е годы). Из 30 авторов, писавших о насилии, — пять женщин (при этом что в изучаемый период количество авторов-женщин значительно превосходит авторов-мужчин). В двух произведениях, написанных женщинами, родители бьют девочек: в «Начале жизни» (1955) Елены Серебровской отец бьет дочь и в повести «Хлеб той зимы» (1970) Эллы Фоняковой матери «удаётся заткнуть несколько жгучих пощечин» дочери. В целом телесные наказания в отношении девочек в детской литературе явление редкое: «порцию подзатыльников» получает Люська, дочка дворничихи из повести Юрия Томина «Борька, я и невидимка» (1962), отец дерет Варьку из «Ожидания» Радия Погодина, мать-сектантка бьет дочь Катю из повести «Ветер рвет паутину» (1963) Михаила Герчика. Из отобранных 46 эпизодов в 41 показано насилие над мальчиками.

Родители и дети в ситуации наказания: телесно-психологический аспект

Оставив в стороне рассмотрение пощечин и подзатыльников, обратимся к анализу изображений экзекуций над детьми. Эпизодов, основным содержанием которых является именно порка, немного. Гораздо чаще можно встретить отсылки к ней. Иосиф Дик вкладывает в уста своего персонажа констатацию естественности порки: «Выгнали меня из школы за двойки, а отец — меня пороть» [Дик 1953], Юрий Коринец указывает на распространенность и привычность порки: «Во всяком случае, меня никогда не порют. А Ляпкина Маленького порют» [Коринец 1972], о том же свидетельствует и отказ от нее: «Отец отделался только ворчаньем, пороть не стал» [Лойко 1962], и многочисленные упоминания угроз выпороть: «Вот подожди, я когда-нибудь возьму ремень да поучу тебя так, как меня в свое время учили!» [Осеева 1947], «Вот доложу отцу, всыплет он ремнем по заднице как следует быть!» [Кожевников 1956], «А увижу — обоим всыплю! — гневно сказала мать» [Тушкан 1963] и мн. др.

Если же эпизод дается как взаимодействие персонажей, то его структура определена участниками ритуала: наказывающий взрослый и наказываемый ребенок. Взрослый наносит удары — ребенок их претерпевает. В развернутых сценах порки или длительного избивения взрослый и ребенок обмениваются репликами. Голоса взрослых — это голоса людей, выполняющих свой воспитательный долг, правомерность формы (насилие) никак не оценивается нарратором:

Потом Кутовой со зловецим видом снимал с себя ремень и начинал гоняться вокруг стола за своим преступным сыном. <...> Запыхавшийся от погони отец семейства, Василий Афанасьевич Кутовой, мощной рукой вытаскивал из-под стола или кровати залезшего туда в отчаянии Костю, клал своего первенца к себе на колени и безжалостно отсчитывал ремнем десять ударов, приговаривая: — Ну в кого он, я вас спрашиваю, уродился? [Лагин 1946]

В приведенном выше примере сцена порки разворачивается последовательно, такая поэтапность характерна для дореволюционного изображения наказания⁴ или для сюжетов, отнесенных в дореволюционное прошлое, например в эпизодах порки в повести В. Беляева «Старая крепость» (1937), А. Кононова «У Железного ручья» (1949) или Е. Серебровской «Начало жизни» (1955):

— Иди-ка сюда, — сказал отец странным охрипшим голосом. Он был не похож на себя: белки его глаз покраснели, рот был полуоткрыт. В руках он держал зеленый ивовый прут. Маша подошла, все еще не допуская мысли, что он побьет. И вдруг он кинул ее лицом на свое колено, спустил короткие ситцевые, мелким цветочком, штанишки и больно хлестнул прутом. Этого она не ждала, нет. Рванулась уйти, но он держал левой рукой, а правой бил [Серебровская 1955].

Но для подавляющего большинства произведений изучаемого периода обычное поведение взрослого, применяющего насилие, — это экспрессивное, взрывное нападение на ребенка, быстро разворачивающееся во времени: отец/мать гонится за ребенком, удерживает его, хватает орудие наказания, в случае матери — часто первое, что подворачивается под руку (веник, валежник), в случае отца — ремень⁵. Во всех эпизодах, где бьющим взрослым показана мать, — это всегда аффективное состояние. После экзекуции мать обычно жалеет ребенка (М. Колосов, «Бахмутский шлях» (1956); Э. Фоякова, «Хлеб той зимы» (1970); В. Крапивин, «Журавленок и молнии» (1982)). Отец почти во всех произведениях также показан в состоянии аффекта:

Отец взвизгнул и дрожащими руками стал снимать ремень. Пелагея Дмитриевна заголосила.

— Дверь закрой! Закрой дверь, говорю, а то и тебя заодно! — приказал Иван Герасимович. Пелагея Дмитриевна, дрожа от страха, закрыла дверь на крючок. Отец вошел в раж. Он уже не помнил себя, исступленно, со страстью бил сына ремнем, а тот молча увертывался и прикрывался руками [Кузнецова 1959].

Редкий случай, когда изображается отец, бьющий ребенка «по расписанию», дан в повести «Мальчик со шпагой. Звездный час Сережи Каховского» Владислава Крапивина, опубликованной в 1974 году:

— <...> Он его за каждый пустяк ремнем бьет. Он такой... ну просто негодяй какой-то! Стаська домой приходит боится. И всегда при отце тихий, как мышонок. А тот все одно только повторяет: «Я сам как рос? С пятнадцати лет работать пошел! С пути не свихнулся, человеком стал. И из тебя человека сделаю!» <...> Он ведь Стаську не сгоряча бьет, а наоборот... Ну, как будто по плану по какому-то [Крапивин 1974: 18].

Обращает на себя внимание, что изображение неэмоционального выполнения «родительского долга», когда бьют детей «не сгоряча», отнесено чаще в дореволюционное прошлое или раннесоветское время, когда еще, с точки зрения персонажей, сильны прежние практики воспитания (В. Беляев, «Старая крепость» (1937); А. Кононов, «У Железного ручья» (1949)), а в послевоенной со-

4 См., например, эпизод порки восьмилетнего Тёмы в повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» (1892).

5 Хотя встречаются и другие орудия, например настольная лампа, — см. «Таинственный иероглиф» М. Коршунова [Коршунов 1966].

ветской семье если родители бьют детей, то «под горячую руку», в том числе и отягощенную действием алкоголя, как в повестях Юрия Сальникова «Шестиклассники» (1959), Эмиля Офина «Форпост “Зоркий?”» (1962) или Германа Матвеева «Новый директор» (1961).

Экзекуция в глазах детей в большинстве случаев процедура, которая неизбежна и которую надо пережить/переждать, поэтому о себе герой-ребенок говорит: «Мне здорово попасть должно, зато сразу отделаюсь, а завтра рыбачить пойдем» [Жемайтис 1953], о товарище, которому экзекуция предстоит: «Он сейчас отмучается, а у нас все еще впереди, — сказал Гошка. Он даже побледнел» [Козлов 1977].

Реакции детей в процессе физического наказания лишены, как правило, изображения таких знаков эмоционального стресса и физической боли, как слезы, зато основным является речь ребенка и — шире — голос. Глаголы речи передают максимальную громкость и высокие тона производимых ребенком звуков: *ору, кричал, выкрикивал, заорал, визжит, верещал*: «Егорка вывертывался, подпрыгивал, кружился вокруг матери и выкрикивал: — Не буду! Не буду! Не буду!» [Томин 1962], «Стаська всегда визжит так: “Папочка, папочка!”» [Крапивин 1974: 18] и др.

Взрослые не отвечают на крики детей. Структура диалога не замкнута: в начале экзекуции родитель обращает к ребенку риторические вопросы или «процедурные» указания («Паразит ты безмозглый, нет на тебя никакой гибели! Не мог ты сам сгореть у этой печки! Это что же такое делается на свете!» [Крапивин 1971] и пр.) и переходит к физическому наказанию. В ответ ребенок кричит (молит о пощаде, требует отпустить, обзывается, угрожает и т.п.), но родитель в диалог уже не вступает — экзекуция показывается как ситуация, в которой взрослый не способен говорить (аргументировать свою позицию, в том числе необходимость применения насилия), он в известном смысле лишен голоса, потому что занят нанесением ударов.

Молчание ребенка в ответ тоже имеет определенную функцию. Отсутствие крика во время экзекуции, с точки зрения взрослого нарратора в 1946 году, — знак успешного самоконтроля ребенка, а значит, взросления: «Костя... во время экзекуции только сопел, прощения не просил, не унижался, держал себя стойко и, насколько это было возможно в его прискорбном положении, даже независимо» [Лагин 1946].

Таким же образом интерпретируют сдерживание крика и персонажи-дети. В тех случаях, когда они обсуждают соотношение физической боли и крика, контроль издаваемых звуков связывается с попытками ослабить болезненность ударов. Однако видны значимые отличия в текстах 1950-х годов от произведений 1970—1980-х годов. В более ранних произведениях сдерживание крика осмысливается ребенком как манипуляции с болевыми ощущениями, избежать которые главная задача истязаемого: «Меня отец часто дерет. Последний раз я ни разочка не заплакал, но когда держишься, то хуже, больнее. А когда кричишь, то легче» [Серебровская 1955]. В текстах 1970-х это попытки не столько ослабить болевые ощущения, сколько перехитрить родителя, избежать боли. Такие эпизоды включают браваду перед товарищами своими навыками переживания боли (или избегания ее) — дети пытаются контролировать свое поведение, а значит, с их точки зрения, пробуют себя во взрослом качестве. Наличие самоконтроля интерпретируется как знак взрослости, а приложен-

ные в процессе порки усилия сдерживать крик — знак взросления. И в этом случае не только терпеливое перенесение боли, но и хитрости, позволяющие боли избежать (подкладывание в штаны вещей, смягчающих удары), интерпретируются как взрослые умения прогнозировать и контролировать ситуацию. Право на контроль — ключевое право, которое перераспределяется во время экзекуции. Как пишет Рэндалл Коллинз: «Важно заметить, что телесное наказание — это часть двусторонней борьбы за контроль» [Collins 2005: 200].

Показательный пример смены поведенческой тактики избиваемым ребенком прямо в процессе экзекуции дает В. Крапивин в повести «Журавленок и молнии». После криков неповиновения герой переходит к другой тактике:

Журка задергал ногами и тут же ощутил невыносимо режущий удар. Он отчаянно вскрикнул. Зажмурился, ожидая следующего удара — и в тот же миг понял, что кричать нельзя. И новую боль встретил молча. Он закусил губу так, что солоно стало во рту. Нельзя кричать. Нельзя, нельзя, нельзя! Конечно, отец сильнее: он может скрутить, скомкать Журку, может исхлестать. А пусть попробует выжать хоть слабенький стон! Ну?! Домашнее воспитание? Не можешь, зверюга! Журка молчал, это была его последняя гордость. Багровые вспышки боли нахлестывали одна за другой, и он сам поражался, как может молча выносить эту боль. Но знал, что будет молчать, пока помнит себя. И когда стало совсем выше сил, подумал: «Хоть бы потерять сознание...» [Крапивин 1982].

Можно выделить, таким образом, первую стратегию осознанного протеста, сигнализирующую о присвоении контроля над ситуацией, а значит, о взрослении: пассивный протест — терпеть, не издавая звуков. Еще одним примером этой стратегии является поведение героини повести Эллы Фоянковой, которая в ответ на материнские побои говорит себе: «Только бы не заплакать! Только бы не заплакать!» [Фоянкова 1970]. И взрослый, и детский взгляд на стоическое молчание сходятся в его интерпретации и оценке: не издавать криков — знак правильного детского поведения в момент экзекуции.

Вторая стратегия: озвучивание своей протестной позиции, которая формулируется в категориях, обозначающих смену статусов участников экзекуции:

— Да что я, маленький?! — вдруг взвыл Коля. — Не смей!

Он неожиданно вырвал из рук оторопевшего отца ремень и, глядя ему в глаза, медленно пошел на него. Казалось, сейчас он так же иступленно начнет бить своего истязателя. Отец растерялся. С малых лет он бил сына, и тот никогда не выходил из повиновения.

— Уйду! Ненавижу! — продолжал рычать сын, наступая на отца. — Посмей только! Мать в ужасе всплеснула руками. Коля рывком свернул ремень, кинул его в угол и показал отцу крепкие кулаки.

— Вот, видел? Это над ребенком можно издеваться. А теперь — нет! — И он опять потряс кулаками, упиваясь растерянностью отца и своей неожиданной смелостью и удивляясь, почему он раньше терпел побои. Он повернулся, откинул крючок, изо всей силы хлопнул тяжелой, обитой ватой и мешковиной дверью и выбежал на улицу [Кузнецова 1959].

Активное противодействие отцу-агрессору символизирует обретение ребенком нового статуса («Это над ребенком можно издеваться. А теперь — нет!»). Смена статуса сопровождается и обретением голоса у обоих участников экзекуции (они обмениваются репликами), изъятием орудия насилия (ремень) и

уходом из пространства конфликта. Если самоконтроль — это признак взросления, то активный отпор, данный агрессору, — знак закрепления статуса, полностью сменившегося в процессе открытого конфликтного столкновения. Ссоры подобного рода, сопровождающие смену статусов, описываются антропологами как «взаимная “подгонка” взаимно определяемых статусов членов семьи в ситуации изменения ее внутренней структуры, связанной с необходимостью приобрести нового члена и/или отреагировать на потерю одного из тех, кто входил в нее раньше» [Кушкова 2016: 54–55]. Кроме того, что статус меняется у ребенка (становится взрослым), он меняется и у родителя (становится родителем взрослого человека).

Социальная значимость внутрисемейной смены статусов объясняет интерес к ним других социальных акторов: как нейтральных (соседи и сверстники детей-персонажей), так и иерархически более статусных (учителя и милиция). Конфликт родителей и детей с применением насилия выходит из частного пространства семьи, становясь частью более широкого социального пространства, а значит, в него могут вовлекаться третьи лица.

Глазами очевидцев: социальный ответ на насилие

Участие третьих лиц в наказании ребенка может быть показано как «включенное наблюдение» или как реакция-постфактум, когда экзекуция уже состоялась и вовлеченные люди хотят как-то отозваться на произошедшее внутри семьи.

Публичные порки в изучаемый период показываются исключительно редко и отнесены в дореволюционное прошлое или на несоветские территории. Так, у Александра Кононова в повести «У Железного ручья» подневольный латыш Август Редадь бьет своего сына: «Потом он порол сына, и все глядели на это» [Кононов 1949]. «Все» — это помещица Перфильевна с дочерьми, работник Минай, испольщик Трофимов, арендатор пан Пшечинский и остальные любопытствующие жители усадьбы, среди которых сын садовника Гриша. Публичное насилие над ребенком используется для того, чтобы продемонстрировать справедливость народной педагогики в противовес капризам барыни. Сын садовника Гриша смотрит на порку, стоя рядом, его переживания от наблюдаемого описываются в телесных проявлениях глубокого стрессового состояния: «Гришу начала трясти незнакомая ему до того мелкая неодолимая дрожь» [Там же]. Этот эпизод — единственный случай включенного наблюдения, во всех остальных эпизодах, где очевидцы-дети смотрят на экзекуцию (если они не являются детьми одних родителей, как в повести Евгения Дубровина «В ожидании козы» (1968), в которой один из братьев наблюдает, как отец порет другого), они делают это тайно, правильнее сказать, подсматривают. В повести Владимира Беляева «Старая крепость» (1937) герои наблюдают сквозь щели забора, как колбасник Гржибовский порет своего сына [Беляев 1937]. То же обнаруживается у Эмиля Офина в повести «Форпост “Зоркий”» (1962), в которой один из героев, четвероклассник Клим Горелов, встретившись с избитым накануне мальчиком, говорит ему: «Я видел, как тебя бил твой отец. Я сидел за кустами, — может, заметил? У меня еще фотоаппарат был с собою» [Офин 1962].

В произведениях 1970-х годов детское подглядывание сменяется подслушиванием. Семейное насилие больше недоступно для чужого взгляда, оно скры-

ваются за стенами, порой весьма тонкими стенами коммунальной квартиры, вновь построенного многоквартирного блочного дома 1960-х годов или барака на две семьи в «съезжей» деревне. Дети перестают быть очевидцами — то есть теми, кто видит своими глазами. В «Тени Каравеллы» (1971) Владислава Крапивина рассказчик дважды становится свидетелем расправы, но в обоих случаях он не видит экзекуции, а только слышит звуки наказания: «Затем донеслись удары, похожие на отдаленное уханье барабана. Я узнал после, что тетя Аня в великой досаде лупила дорогого сына обгоревшим валенком между лопаток» [Крапивин 1971]. В другом эпизоде он это описывает еще более эмоционально:

Однако бывали и у Ноздри черные времена. Иногда по вечерам дядя Глеб лупил его ремнем за двойки, курение и прочие грехи. Я утыкался лицом в подушку и зажимал уши, чтобы не слышать звуков расправы, но это не помогало. Ноздря пронзительно верещал. На следующий день Ноздря бывал злым, как сто голодных дьяволов. Он ненавидел меня за то, что я знал о его унижении. Он думал, что я радуюсь его беде [Там же].

Начиная с 1970-х годов порка и другое насилие над ребенком перестают быть зрелищем для сторонних глаз, в большинстве своем о насилии сообщается как о ситуации, состоявшейся приватно. Из 15 эпизодов (на 12 произведений) телесных наказаний детей 9 — это эпизоды из произведений Крапивина, персонажи-дети которых, с одной стороны, чутко прислушиваются к чужой беде, настроены услышать зов о помощи, с другой — готовы активно противодействовать злу.

Взрослые в 1950—1970-е годы являются и включенными наблюдателями, и — реже — активными участниками. Писатели берутся показывать семейную и общественную рефлексию о насилии, например в изображении внутрисемейной « совещающейся » реакции, как в повести Михаила Колосова «Бахмутский шлях» (1956), когда бабушка увещевает свою дочь:

- Била? Мать ничего не ответила. — Не бей, — твердо сказала бабушка.
- Ребенок и так пережил, видишь — и во сне бедняжка вздыхает. <...>
- Сама виновата... — сказала бабушка. Мишка, затаив дыхание, прислушивался. Бабушка повторила:
 - Да, сама. Говорю — выходи замуж. Человек находится хороший, самостоятельный. Детей возьмет в руки, да и ты с детьми больше будешь. А так и себя мучишь, и дети растут вкось. Мальчик уже вон куда пошел, воровать начал, а у тебя еще девочка есть, она совсем без матери не может. Выходи, говорю, замуж, пока человек находится, не артачься [Колосов 1956].

Послевоенный семейный опыт, вынудивший матерей воспитывать детей в отсутствие отца, показан как проблемный и смещающий гендерный порядок. Общественное представление об отце, который «детей возьмет в руки», и приписываемые отцам карательные функции показаны как перераспределенные матерям. Возвращение отцов с войны и попытки реализовать эти функции, напротив, оборачиваются их поражением и потерей авторитета. В повести «В ожидании козы», опубликованной в 1968 году, Евгений Дубровин реконструирует как раз такую ситуацию: вернувшийся с войны отец (когда его уже не ждали и мать пыталась «устроить жизнь» с другим человеком) пытается наладить отношения с сыновьями, которые выросли без него: «Ну вот что! — крикнул он. Хотите вы или нет: я пришел! Пришел, и все! Будете слушаться!

Нет — буду драть ремнем. Умники!» [Дубровин 1968]. Его дисциплинарные методы не находят поддержки у жены, она выговаривает мужу: «Кто этак обращается с детьми? К ним подход нужен, а ты битьем да битьем. Озлобил их вконец» [Там же]. Жена объясняет мужу причины отчуждения детей («Да и не знают они тебя. Привыкли одни») и предлагает ему обратиться к педагогической литературе («Книжку, как с ними надо, почитал бы. Говорят, есть такие книжки»). Однако этому совету отец не следует. И у Колосова, и у Дубровина речь идет о сельских семьях, для которых характерным является воспроизведение сложившихся воспитательных моделей: «Книжки. Меня отец кнутом драл... Вот и вся грамота...» [Там же]. Педагогическая беспомощность отца «от сохи» интересным образом резонирует с рефлексией матери из книги Эллы Фоянковой, выпущенной два года спустя в 1970 году. Вспышка материнского гнева, выразившаяся в нескольких пощечинах дочери, сменяется слезами раскаяния. Мать пытается объяснить дочери причину своего гнева, и они примиряются: «Прости меня, девочка... Мы обе долго плачем. Мама горестно, а я — облегченно» [Фоянкова 1970]. Последним произведением, в котором можно обнаружить родительскую моральную оценку насилия, является вышедшая в 1982 году повесть Крапивина «Журавленок и молнии». Она целиком построена на конфликте отца и сына, возникшем как посттравматическая реакция ребенка на насилие. Отец отказывается извиниться перед сыном, у него нет внутренних сил признать ошибку. При этом его жена, мать Журки, указывает ему на его педагогический и человеческий промах. Обе матери, кстати, показаны как интеллигентные, думающие люди, склонные к сложным размышлениям о допустимых границах насилия над человеком как таковым. Из всего корпуса произведений только три названных содержат внутрисемейную взрослую рефлексию о том, «бить или не бить».

Примеров как вмешательства сторонних лиц в саму экзекуцию, так и реагирования на нее постскрипtum немного. Непосредственно вмешиваются соседи по квартире — все эпизоды насилия (кроме названных выше произведений Колосова и Дубровина) локализуются в городской среде и, соответственно, в многоквартирном доме. В повести Крапивина «Мальчик со шпагой» показано открытое столкновение героя с отцом-агрессором, избивающим второклассника Стаську, и вмешательство (не имевшее долговременных последствий) отца одной из героинь:

Наш папа один раз не выдержал... — Наташа слабо улыбнулась.

— Не выдержал, вызвал этого Грачёва в коридор да как взял его за рубашку! Приподнял и к стенке прижал, висячего. И говорит: «Если еще раз ребенка тронешь...»

— Так и надо, — сказал Сережа.

— Думаешь, очень помогло? — спросила Наташа. — Грачёв Стаське кричать запретил. Стаська теперь только мычит да ойкает, когда его лупят. Папа у нас по вечерам на работе, а меня и маму Грачёв не боится. Недавно опять Стаську так изукрасил, у него все ноги и плечи в полосах. Я видела, когда он утром умываться выбегал. Он, конечно, и парадную форму не надел, чтобы следы от ремня на ногах не увидели [Крапивин 1974: 18].

Соседское вмешательство изображается крайне редко. Так, в повести Георгия Тушкана «Друзья и враги Анатолия Русакова» (1963) одна из молодых участниц бригады содействия милиции (бригадмил) рассуждает о воспитательных

практиках матери одного «трудного» подростка: «Не знаю. У нее абсолютно нет никакого представления о том, как надо воспитывать сына. Она не знает, где с сыном надо лаской, а где таской. Витяка убегает от побоев на чердак или в котельную. А когда является домой с повинной, мать бьет его так, что *sоседи вырывают его из ее рук* (курсив мой. — С.М.). Мальчишка безнадзорный» [Тушкан 1963].

Среди анализируемых произведений это редкий пример стороннего взрослого, правильное сказать молодежного, обсуждения семейного насилия. И сам повествователь, Анатолий Русаков, недавно покинувший воспитательную колонию, и остальные члены бригады — люди молодые, недавно только сами переставшие быть объектами взрослого насилия. Этот эпизод отсылает, кстати, к истории регулирования девиантного поведения (хулиганства) на рубеже 1950—1960-х годов, когда была развернута кампания по наделению общественности функциями социального контроля по отношению к поведенческим практикам, признаваемым недопустимыми. Таким практикам зачастую приписывался криминальный характер, хотя еще недавно они рассматривались как поведенческая норма. Зона социального контроля расширилась, захватив в том числе и семейные практики насилия над детьми. В повести Германа Матвеева «Новый директор» (1961) главный герой — Константин Семенович Горюнов — сначала работает в милиции начальником отделения по борьбе с детской преступностью, а вскоре становится директором школы. Будучи сотрудником милиции, он ведет разъяснительную беседу с отцом, бьющим своего сына. А потом успокаивает мальчика:

Николай... Я вчера говорил с твоим отцом. Он человек горячий, несдержанный, но неплохой, и напрасно ты его боишься. Если он тебя и бил раньше, то только потому, что считал это полезным. Он хотел тебе добра. Я ему объяснил, что от битья никакого толку не будет, и он как будто согласился со мной. Тебе нужно договориться с отцом. Он любит машину, и ты любишь технику. Одним словом, не бойся. Иди домой смело. Кажется, всё... [Матвеев 1961].

В этом высказывании виден герменевтический разрыв между образованным служащим (высшее педагогическое образование) и шофером, который «как будто согласился», что детей бить не стоит. «Новый директор» — произведение, полное социального оптимизма по поводу переустройства школьного образования и воспитания, однако в эпизодах насилия в литературе 1960-х годов писатели довольно беспристрастно продолжают документировать распространенные практики семейного насилия, в том числе телесного наказания детей. В фокусе оказываются и разнообразие применения пощечин и порок, и некоторое напряжение общества по поводу допустимости телесных наказаний. Показаны и гуманистические рефлексии интеллигенции (как у Фоняковой и Коринца), и традиционалистские практики воспитания, игнорирующие «книжки» и «образованных» (как у Дубровина, Осеевой, Коршунова и Ликстанова). Причем традиционалистские подходы не всегда дискредитированы, как можно было бы ожидать: у Валентины Осеевой («Динка прощается с детством» (1969)) и Альберта Лиханова («Деревянные кони» (1971) и «Обман» (1974)) порка оценивается детьми как неизбежная и поучительная, как естественная и правомерная форма родительского наказания. И взрослый нарратор иной точки зрения не предлагает.

Со второй половины 1970-х годов телесные наказания в советской детской литературе можно обнаружить в произведениях только двух писателей: Вильяма Козлова и Владислава Крапивина. Козлов продолжает традиции изображения насилия, не давая ему взрослой этической оценки. Телесные наказания показаны в пересказах персонажей-детей, которые похваляются друг перед другом трикстерскими способами избежания боли: «Когда я наверняка знаю, что меня будут драть, надеваю трое трусов и двое штанов» [Козлов 1977], «Мне было не больно, потому что в штаны задачник по арифметике запихал» [Козлов 1983]. Этнографические детали добавляют натуралистических черт практикам насилия, но при этом полностью освобождены от взрослой рефлексии самих практик.

Крапивин — единственный автор 1970—1980-х, который берется расставить этические оценки телесным наказаниям детей. Однако в его художественном мире взрослые часто не справляются с ответственностью за свои поступки. Взрослые герои у Крапивина — учителя и родители — либо агрессивные абьюзеры, либо слабовольные наблюдатели. Так, в уже упоминавшейся выше повести «Мальчик со шпагой» учителя и директор обсуждают, как Грачев бьет своего сына. Учителя показаны неспособными противостоять насилию, пребывающими в счастливом неведении о расправах «деликатного папы» (такую характеристику дает ему классная руководительница), и только равнодушный подросток Сережа Каховский способен на открытое противостояние агрессору. В повести «Журавленок и молнии» отец не находит в себе силы извиниться перед сыном за применение силы. Мальчики, которых бьют отцы, оказываются нравственно совершеннее взрослых.

Заключение

Телесные наказания в детской литературе — индикатор происходящих изменений в советском обществе 1950—1980-х годов. Прозрачность семейных границ в 1950—1960-е годы приводит к тому, что в детской литературе мы видим изображение всего разнообразия повседневности советской семьи, в том числе и насилие над детьми (и женщинами). Социальный контроль, столь разнообразно реализовавшийся на рубеже 1950—1960-х годов, с одной стороны, стал предметом изображения в детской литературе (см. бригадилы), но в то же время и само внимание писателей к семье и ее проблемным точкам тоже может быть этим отчасти объяснимо. С другой стороны, это время «правдивого изображения жизни» [Лейбович 2009: 102], время оттепельного интереса к темным сторонам советской жизни — и насилие над детьми стало подходящим материалом для обнаружения и обличения в реалистической прозе для детей. Детская литература становится своего рода площадкой для репортажей с мест, репортажей не слишком оперативных и не очень подробных, но все-таки сообщений, достаточных, чтобы узнать реальный детский и взрослый мир. Этнографическая документальность и психологическая достоверность в изображении пороков и пощечин не сопровождалась ожидаемым педагогическим резонерством о недопустимости насилия. Телесно-чувственное напряжение участников экзекуций (крики детей от боли и страха, физическая усталость наказующих родителей и т. п.) лишено в подавляющем числе разобранных эпизодов четко артикулированного морального осуждения. Аргументы взрос-

лых и детей колеблются в диапазоне, определяемом различными афоризмами: от «Никто не спрашивал, за что били. Взрослые сильнее, они всегда найдут за что» [Серебровская 1955] и «Учи, пока поперек лавки ложится, а как станет вдоль ложиться — не выучишь» [Матвеев 1961] до «...детей пороть нельзя. Надо с ними разговаривать» [Коринец 1972]. Такие изречения как бы снимают моральную поляризацию, сглаживают углы, позволяют к каждой конкретной ситуации применить некую «народную мудрость», обобщить и встроить в ряд повседневных практик, не нуждающихся в категоричных оценках. Взрослого солидарного осуждения физического насилия в 1950—1960-е годы обнаружить не удалось.

В начале 1970-х годов, в тот момент, когда в обществе меняется понимание границ приватности, в том числе семейной, телесные наказания и вовсе уходят из поля зрения детских писателей. Детей, конечно, продолжают пороть и бить, но в детской литературе 1970—1980-х об этом говорится крайне редко и развернутых сцен нанесения побоев мы не найдем. Писатели уклоняются от этой темы, не то чтобы замалчивают, но избегают. «Дела семейные» укрываются за дверями отдельных квартир, а писатели не стремятся смотреть в замочную скважину и прислушиваться. Такая писательская деликатность не распространяется на другие «жгучие темы современности»: семейные ссоры и разводы, неполные семьи и алкоголизм родителей, врожденные детские болезни и приобретенные увечья будут изображаться в детской литературе этого периода практически без каких бы то ни было ограничений. Однако телесные наказания в семье попадают в серую зону, становятся невидимы. Только Крапивин, которого можно назвать «детским омбудсменом в литературе», остается на страже неприкосновенности детского тела — «синяки не краска, за день не отмоются...» [Крапивин 1974]. Все остальные советские писатели и писательницы надолго теряют интерес к этой части семейной повседневности.

Библиография / References

- [Беляев 1937] — *Беляев В.* Старая крепость. М.; Л.: Детгиздат, 1937.
(*Belyaev V.* Staraya krepost'. Moscow; Leningrad, 1937.)
- [Бундцельман 1926] — *Бундцельман Н.* Почему нельзя наказывать детей. Л.: Прибой, 1926.
(*Buntsel'man N.* Pochemu nel'zya nakazyvat' detey. Leningrad, 1926.)
- [Дик 1953] — *Дик И.* В нашем классе. М.; Л.: Детгиз, 1953.
(*Dik I.* V nashem klasse. Moscow; Leningrad, 1953.)
- [Дубровин 1968] — *Дубровин Е.* В ожидании козы. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1968.
(*Dubrovin E.* V ozhidanii kozy. Voronezh, 1968.)
- [Жемайтис 1953] — *Жемайтис С.* Ребята с голубиной пади. М.: Молодая гвардия, 1953.
(*Zhemaytis S.* Rebyata s golubinoj padi. Moscow, 1953.)
- [Кожевников 1956] — *Кожевников В.* Заре навстречу. М.: Детгиз, 1956.
(*Kozhevnikov V.* Zare navstrechu. Moscow, 1956.)
- [Козлов 1977] — *Козлов В.* Витька с Чапаевской улицы. Л.: Детская литература, 1977.
(*Kozlov V.* Vit'ka s Chapaevskoy ulitsy. Moscow, 1977.)
- [Козлов 1983] — *Козлов В.* Рассказы про Васю Снегирева // Козлов В. Красное небо: Повесть. Рассказы. Л.: Детская литература, 1983.
(*Kozlov V.* Rasskazy pro Vasyu Snegireva // Kozlov V. Krasnoe nebo: Povest'. Rasskazy. Leningrad, 1983.)
- [Колосов 1956] — *Колосов М.* Бахмутский шлях. Курск: Книжное издательство, 1956.

- (Kolosov M. Bakhmutskiy shlyakh. Kursk, 1956.)
 [Кон 2012] — *Кон И.С.* Бить или не бить? М.:
 Время, 2012.
- (Kon I. Bit' ili ne bit'?. Moscow, 2012.)
 [Кононов 1949] — *Кононов А.* У Железного
 ручья. М.; Л.: Детгиз, 1949.
- (Kononov A. U Zheleznogo ruch'ya. Moscow; Le-
 ningrad, 1949.)
 [Коринец 1972] — *Коринец Ю.* Привет от Вер-
 nera. М.: Детская литература, 1972.
- (Korinets Yu. Privet ot Vernera. Moscow, 1972.)
 [Коршунов 1966] — *Коршунов М.* Таинствен-
 ный иероглиф. М.: Детская литература,
 1966.
- (Korshunov M. Tainstvennyy ieroglif. Moscow, 1966.)
 [Крапивин 1971] — *Крапивин В.П.* Тень Кара-
 веллы. М.: Детская литература, 1971.
- (Krapivin V.P. Ten' Karavelly. Moscow, 1971.)
 [Крапивин 1974] — *Крапивин В.* Мальчик со
 шпагой. Звездный час Сережи Кахов-
 ского // Пионер. 1974. № 5. С. 16—34.
- (Krapivin V. Mal'chik so shpagoy. Zvezdnyy chas Sere-
 zhi Kakhovskogo // Pioner. 1974. № 5. P. 16—34.)
 [Крапивин 1982] — *Крапивин В.* Журавленок
 и молнии. Свердловск: Средне-Ураль-
 ское книжное издательство, 1982.
- (Krapivin V. Zhuravlenok i molnii. Sverdlovsk, 1982.)
 [Кузнецова 1959] — *Кузнецова А.* Честное ком-
 сомольское. М.: Детгиз, 1959.
- (Kuznetsova A. Chestnoe komsomol'skoe. Moscow,
 1959.)
 [Кушкова 2016] — *Кушкова А.* Крестьянская
 ссора: опыт изучения деревенской по-
 вседневности. СПб.: Издательство Евро-
 пейского университета в Санкт-Петер-
 бурге, 2016.
- (Kushkova A. Krest'yanskaya ssora: opyt izuche-
 niya derevenskoy povsednevnosti. Saint Pe-
 tersburg, 2016.)
 [Лагин 1946] — *Лагин Л.* Броненосец «Аню-
 та». М.: Детгиз, 1946.
- (Lagin L. Bronenosets "Anyuta". Moscow, 1946.)
 [Лейбович 2009] — *Лейбович О.* Без черно-
 виков. Иван Прокофьевич Шарапов и
 его корреспонденты. 1932, 1953—1957 гг.
 Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009.
- (Leybovich O. Bez chernovikov. Ivan Prokof'evich
 Sharapov i ego korrespondenty. 1932, 1953—
 1957 gg. Perm', 2009.)
 [Лойко 1962] — *Лойко Н.* Женька-Наоборот.
 М.: Детгиз, 1962.
- (Loyko N. Zhen'ka-Naoborot. Moscow, 1962.)
 [Матвеев 1961] — *Матвеев Г.* Новый дирек-
 тор. Л.: Лениздат, 1961.
- (Matveev G. Novyy direktor. Leningrad, 1961.)
 [Миронов 2000] — *Миронов Б.* Социальная ис-
 тория России периода империи (XVIII —
 начало XX в.): В 2 т. Т. 1. СПб.: Дмитрий
 Буланин, 2000.
- (Mironov B. Sotsial'naya istoriya Rossii perioda im-
 perii (XVIII — nachalo XX v.): In 2 vols. Vol. 1.
 Saint Petersburg, 2000.)
 [Осеева 1947] — *Осеева В.* Васек Трубачев и
 его товарищи. Кн. 1. М.; Л.: Детгиз, 1947.
- (Oseeva V. Vasek Trubachev i ego tovarishchi. Kн. 1.
 Moscow; Leningrad, 1947.)
 [Офин 1962] — *Офин Э.* Форпост Зоркий. Л.:
 Детгиз, 1962.
- (Ofin E. Forpost Zorkiy. Leningrad, 1962.)
 [Положение 1918] — Положение об единой
 трудовой школе Российской Социалис-
 тической Федеративной Советской Рес-
 публики: Утверждено на заседании
 ВЦИК 30 сентября 1918 г. // Народное
 образование в СССР. Общеобразова-
 тельная школа. Сборник документов.
 1917—1973 гг. / Сост. А. Абакумов, Н. Ку-
 зин, Ф. Пузырев, Л. Литвинов. М.: Педа-
 гогика, 1974. С. 133—137.
- (Polozhenie ob edinoy trudovoy shkole Rossiyskoy
 Sotsialisticheskoy Federativnoy Sovetskoy
 Respubliki: Utverzhdeno na zasedanii VtSIK
 30 sentyabrya 1918 g. // Narodnoe obrazova-
 nie v SSSR. Obshcheobrazovatel'naya shkola.
 Sbornik dokumentov. 1917—1973 gg. / Ed. by
 A. Abakumov, N. Kuzin, F. Puzyrev, L. Litvinov.
 Moscow, 1974. P. 133—137.)
 [Серебровская 1955] — *Серебровская Е.* На-
 чало жизни. Л.: Лениздат, 1955
- (Serebrovskaya E. Nachalo zhizni. Leningrad, 1955.)
 [Тихомирова 2004] — *Тихомирова Е.* Разви-
 тие взглядов отечественных педагогов
 XX века в изучении методов поощрения
 и наказания детей в семье. Дис. ... канд.
 пед. наук. Архангельск, 2004.
- (Tikhomirova E. Razvitiye vzglyadov otechestvennykh
 pedagogov XX veka v izuchenii metodov po-
 oshchreniya i nakazaniya detey v sem'e. PhD
 thesis. Arkhangel'sk, 2004.)
 [Томин 1962] — *Томин Ю.* Борька, я и неви-
 димка. Л.: Детгиз, 1962.
- (Tomin Yu. Bor'ka, ya i nevidimka. Leningrad, 1962.)
 [Тушкан 1963] — *Тушкан Г.* Друзья и враги
 Анатолия Русакова. М.: Детгиз, 1963.
- (Tushkan G. Druz'ya i vragi Anatoliya Rusakova.
 Moscow, 1963.)
 [Фонякова 1970] — *Фонякова Э.* Хлеб той зимы.
 Новосибирск, Западно-Сибирское книж-
 ное издательство, 1970.
- (Fonyakova E. Khleb toy zimy. Novosibirsk, 1970.)
 [Collins 2005] — *Collins R.* Conflict Theory of Cor-
 poral Punishment // Corporal Punishment
 of Children in Theoretical Perspective / Ed. by
 M. Donnelly, M. A. Straus. New Haven; London:
 Yale University Press, 2005. P. 199—213.
- (Nimon 1993) — *Nimon M.* Violence in Children's
 Literature Today // Dreams and Dynamics.
 Selected Papers from the Annual Conferen-

- ce of the International Association of School Librarianship (22nd, Adelaide, South Australia, Australia, September 27—30, 1993). Kalamazoo: International Association of School Librarianship, 1993. P. 29—33.
- [Donnelly, Straus 2005] — *Donnelly M., Straus M.A.* Theoretical Approaches to Corporal Punishment // *Corporal Punishment of Children in Theoretical Perspective* / Ed. by M. Donnelly, M.A. Straus. New Haven; London: Yale University Press, 2005. P. 3—7.
- [Donnelly 2005] — *Donnelly M.* Putting Corporal Punishment of Children in Historical Perspective // *Corporal Punishment of Children in Theoretical Perspective* / Ed. by M. Donnelly, M.A. Straus. New Haven; London: Yale University Press, 2005. P. 41—54.